

Одиночество

Собирались мы обычно к позднему часу, когда ротационные машины, вобрав в себя все и вся, разрешали нам покинуть наши журнальные и газетные кухни. Часовая стрелка готовилась замкнуть циферблатный круг. Мы отдыхали в ресторанном зале клуба, что на изломе Бойсуотеррод.

Два-три часа беседы около круглого столика за стаканом сода-виски или рюмкой коньяку. Потом недлинная черная лента сна, вмонтированная в жизнь. А уже наутро продавцы газет и ревью будут подавать прохожим – на белом вчетверо сложенном листе – наши статьи, новеллы, очерки, воспоминания и предсказания.

И всегда получалось как-то так, что, когда все уже прощались, кто-нибудь – на несколько минут, а то и на полчаса – затевал разговор о Джоне Джонсоне.

Самое имя его, поскольку обмен репликами был тороплив – во время уплаты по счету, на ступеньках лестницы, а то и у вешалки, – постепенно стачивалось, как вертящийся диск точильщика: сперва "Джон Джонсон", потом "Джонсон", а там и "Джон", "Джо", – пока кто-то из нас, кажется Гарри Кендел, не предложил под общий смех называть его, этого возмутительного прилипалу, просто "Дж".

Так было и в этот вечер. Эндрью Хорт, скользнув глазами по цифрам счета, недовольно пробормотал:

– Черт возьми, возврати мне этот Дж свой долг, я бы не увяз в нищенских шиллингах и угостил бы и себя и вас шампанским.

– Да-а, – протянул, сбрасывая с себя дремоту усталости, Гарри.

– Не напоминайте мне о нем перед сном, – вмешался Лицци Блек, приподымаясь из-за стола, – еще приснится чего недоброго.

– Я убежден, – добавил, все больше оживляясь, Гарри, – что и во сне он попросит у тебя пять фунтов до ближайшего уик-энда. И ты ему дашь.

– Нет, я постараюсь успеть проснуться.

– Друзья, – начал, кривя губы в улыбку, Эндрью Хорт, – какую новую наживку придумала эта скотина Дж, это ловец чужих монет! Совершенно новый вариант.

– Пора расходиться. Поздно.

– Нет. Подождите. Выпьем еще по глотку бренди. Это было вчера. Он подошел ко мне в фойе, в антракте, отделяющем триумф вердиевского Радамеса от его предательства. Я был в обществе моего старого, еще по Оксфорду, приятеля и его невесты, с которой он меня познакомил перед увертюрой. Увидев в толпе Дж, я попробовал было спрятаться за колонны, но он устремился по прямой на меня и, тряся мне руку двумя руками, захлебывающимся голосом сказал... Нет, вы послушайте, что он мне сказал!

– К делу. К черту риторические вопросы!

– Согласен. К черту. Кстати, к черту и этот бренди в бокалах. Чокнемся. Дальше. Ну вот, он мне говорит: "Благодарю вас, от всего сердца заранее благодарю вас, дорогой мой, за то, что вы одолжите мне два фунта, которые я возвращу вам раньше, чем электрические фонари на Пикадилли успеют потухнуть". Вы понимаете, друзья, что я, стоя рядом с дамой, не мог выругаться по-нашему, по-оксфордски, напомнить ему о бычьих глазах и прочих неприятных мелочах.

– Ну, и вы...

– Ну, и я, как ну, и каждый из нас, дал ему то, чего он требовал.

Я не мог не присоединиться к разговору.

– Знаете, – сказал я, – в нем скрыта какая-то прячущаяся, как шило в мешке, но то и дело выходящая наружу колючая психологическая проблема. У меня с этим Дж была такая встреча. Он – это было как раз в дни, когда я получил небольшое наследство, – напал на меня как раз в тот момент, когда я вынул из кармана бумажник с торчащими из него хвостами банкнотов. Он, этот Дж, – не помню, какой уж из своих трюков он применил, – попросил у меня два фунта, клятвенно уверяя, что солнце не успеет опуститься за горизонт, как мои фунты вернутся в мой бумажник. У меня, как нарочно, не было двадцатишиллинговых бумажек. Я вынул кошелек и дал ему золотую гинею. Вы знаете, дорогие мои, историю нашей старой английской гинеи? Золотая ценность ее – двадцать один шиллинг. Подчеркиваю: один. В старину адвокатам, ходатаям по судам, платили золотую гинею. Ходатай брал себе двадцать, а один шиллинг соскабливался в пользу клерка. Если б вы видели, дорогие мои, как долго рылся этот изумительный Дж в своих карманах в